

Игорь

ЕРОФЕЕВ



УСТОЯТЬ

Игорь

ЕРОФЕЕВ



УСТОЯТЬ

Стихотворения

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
Е-11

В оформлении обложки использована
компьютерная графика Александры Лапченко

Ерофеев, И. В.
Е-11 Устоять: сборник стихотворений / И. В. Ерофеев;
ред., авт. послесловия Г. В. Каштанова-Ерофеева. –
Калининград: Янтарный сказ, 2009. – 96 с.
ISBN 978-5-7406-1091-5; Б.ц., 500 экз.
УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 978-5-7406-1091-5

© И. В. Ерофеев, 2009

ОТ АВТОРА

Так получилось, что мой третий поэтический сборник увидел свет первым. И это моё первое «объёмное» общение с читателем спустя двенадцать лет с начала осмысленной работы со словом. Прежде доводилось печататься только в местной и региональной периодике и в коллективных изданиях.

В сборнике, получившем название «Устоять», – стихи о городе, с которым связана вся моя судьба, особое место занимает «женская» тематика, есть стихотворения о войне – её вселенская драма не может не волновать – и зарисовки о том, что нам мешает или помогает устоять в этом «прекрасном и яростном» мире. Добавят ли вам стойкости некоторые мои наблюдения за «общей» с вами жизнью, почувствовать вам, уважаемые читатели.

Я боюсь, что сказка станет былью,
где бы дали вольно подышать, –
эту «сказку» мы с тобой отбыли,
разучившись думать и решать.

Я боюсь, когда стреляют в спину,
и боюсь стать жертвою идей.
Пусть я нищим этот мир покину –
только бы полезным для людей.

Я боюсь, когда гремят парады
и стоят на площади войска, –
поведёт нас вновь на баррикады
зла пятиконечная рука?

Я боюсь, когда «зарю навстречу»:
кровь и солнце – цвета одного, –
а когда оглохнешь от картечи –
не поймёшь, ты с кем и за кого.

Я боюсь душевного простоя –
чахнуть в обесточенной любви.
Были мы строителями строя,
а теперь беда – наш визави.

Я боюсь, что ты ко мне привыкнешь,
как привыкли к небу облака.
Я боюсь, в мои стихи проникнет
горем обожжённая строка.

Я боюсь, что сын меня забудет,
не подаст мне старому воды,
что в своей супружеской постели
я найду предательства следы.

Я боюсь, что наша жизнь конечна, –
каждому есть смерти приговор.
Я боюсь, людская глупость вечна,
раз война ведётся до сих пор.

Я боюсь, что кто-то не увидит
в Боге его срочной доброты, –
но и он, похоже, всё не видит
со своей безумной высоты.

Я боюсь, что нам судьба – бояться, –
видно, так устроен наш народ...
А пока, чтоб делом заниматься,
я пойду работать в огород...

УСТОЯТЬ

Старый замок Ордена, поставленный временем
на костыли,
замедляющий ветры, теряющиеся вдали...
Когда-то он был молод, беспечен,
надменно спесив,
но и ныне, выпав из ножен, величествен и красив.
Он помнит язычников-пруссков,
татарский свирепый вид,
от шведа ему досталось, пожёг его московит.
Принимал он больных и сирых,
обустроенный в лазарет,
эскадроны драгун литовских охраняли его от бед.
Здесь защиту себе искали королевы и короли,
а теперь в нём прячутся тени,
вырастающие из земли,
не звучат больше звуки горна,
призывающие в поход...
Здесь в каждом проёме – выход, –
но где-то быть должен вход?..
Он и без башен страшен, и без бойниц высок,
забиты глаза на волю заплатами из досок,
разговаривает он с листвою,
прикрывающей наготу, –
рождённому быть солдатом
от бессилия – неумоготу.
Он всё ещё возвышается,
хотя город поднялся вверх,
с небом над ним простился раненый белый стерх,

он закован в гранитные латы
и совсем не похож на дом,
у ног его речка длится, повенчанная с прудом.
Перебит кирпича позвоночник,
на котором висит фасад;
поражённый замковой прелью,
задохнулся замковый сад;
стены – с кривыми спинами,
с рассечённой губой ворот, –
кому он такой нужен – калека, почти урод?
Мы не знаем его большого,
перед нами – такой, как есть,
его выщербленные раны
кое-как прикрывает жесьть,
кто-то видит одни руины, кто-то – крепость,
кто – цитадель, –
окружает его из глины городская на вид модель.
Хватит ли силы Божьей замку гордому устоять?
Сколько раз по нему стреляли –
и стреляют порой опять.
Только грохот прямого боя
пробудил бы его от сна –
рва смирительная рубашка, может,
стала б не так тесна.
Но зарос он по грудь травую, да и дышит
с трудом пока,
а где-то в земле живое сердце спрятано от греха.
Он из страха людьми построен
и к бессрочной судьбе привит, –
пусть руины одни остались,
но душа и за них болит.

ДУША

Моему отцу

Проливой ночью

тише мыша

проникла ко мне чья-то душа.

Лежу, едва дыша, вспугнуть боюсь,

на сердце своё гулкое злюсь.

А душа пригрелась, засветилась в темноте,
склонной к пустоте...

Испугался, признаюсь,
не шевелиться стараюсь:

ещё бы, такое чудо –

душа чужая! Откуда?!

– Кто ж такая? –

спросил.

– Да с Алтая –

всю ночь леший где-то носил, –

бабы Нюры дух.

Дожила до семидесяти двух,

всю жизнь, считай, трудилась,

болезнями заржавела,

совсем устала, уморилась, –

вчера и отошла...

Да вот напасть – заблудилась.

Сначала в трубу печную забились,

затем ветрами

по-над реками понесло –

чуть было не порешили веслом...

До неба-то, милоч, далече?
У меня там с Господом встреча.
– Куда ему, небу-то, деться?
Давай лучше к печке ближе – греться.
Летать же умеешь –
на суд Божий всегда успеешь.
Как в теле-то жилось?

Рассказала б, душа...

– Ох, сынок, и длинная это история.

Если хочешь – слушай,
как душа изливает душу...
Хороша я была в девках:
первая в танцах и припевках,
отбоя не было от парней –
да вот всем отказала,

пока не завлѣк меня Андрей.

Ох и пригож же он был, широкоплеч!
На седьмом небе была после с ним встреч...
На седьмом месяце и оставил брюхатую:
забрали его на войну треклятую.
Помню, как прощался со мною и хатою, –
прижался ухом к животу:
«Ты мне мальчика, – говорит, – сохрани.

И чтобы никуда,
пока воюю, ни-ни.

Приду –
проверю!
Ты мне веришь?» –

«Верю!..»

Сына когда родила – бумагу в дом доставили,
что мужа моего посмертно

к ордену представили...

В селе нашем одни старики да бабы остались:
нам тогда все беды бедные, наверно, достались.
Намаялась я потом с ребёнком –
коза, не поверишь, спасла:

её молоком

Сашку своего поила с козлёнком.

Выжили кое-как.

А дальше немец пришёл, раз его так!

Услали нас, женщин, в Германию эшелоном –
помню, бабы ревели, а офицер их главный

лыбился и пахло от него одеколоном...

Отобрали сразу в лагере детей от нас –
никогда не забыть мне Сашкиных глаз!

Вцепилась я мёртво в солдата,
что сына тащил куда-то, –
побили меня прикладами, бросили в яму,
на трупы прямо...

Ночью из оврага выползла:

темень, холод собачий.

Слышу – стонет кто-то рядом, плачет.

Грешна была: забоялась, ушла...

Еле дорогу нашла.

Тело всё битое,
сердце горем разбитое,
а кругом – ни огонька, ни здания.

Куда идти? Везде – Германия...

Вечерами со свечами долго сидели,
вязали и песни тихонько пели –
нравились ей наши, народные:
говорила, что мелодии их – из души, природные.
Наверно, двоим было легче горе переживать:
она хоть и немецкая, но всё-таки мать.

Опять же, ревели –
сынов своих жалели
и мужей, которых войной убило, –
давно это было...

Однажды утром ушла я с хутора – не простилась,
к беженцам на дороге прибилась.

Наши уже в Пруссии были,
самолёты города бомбили.

Один раз под снаряды свои же попала –
чуть было не пропала.

Сколько людей тогда смерть пометила!..

Под Кёнигсбергом ихним
я Победу и встретила.

Но недолго радовалась –
неважно всё складывалось:
в женский лагерь для враждебных элементов
отвезли меня без документов.

Согнали нас тогда в бараки.

Кругом проволока колючая, вышки, собаки.

С голоду пухли, шинели шили,
собирали на заводе краны.

Там в бытовке и снасиловал меня сержант охраны, –
слава богу, не пристрелил,
а только, сволочь, сильно побил...

Вот, милоч, судьба какая:

в двадцать пять

порченная и почти седая...

– Неужели ж, душа, счастья не видела?

Может, Бога нашего чем обидела?

– Чем я могла его обидеть,

коль не дано его увидеть?

Молиться вот не забывала,

а счастья женского – как не бывало.

Долго так жила,

всё мужчину своего ждала.

Вернулась на родину, работала в колхозе дояркой,

на танцы ходила, красилась помадой яркой.

Никто не брал под венец –

всё, думала, конец:

кому такая нужна?..

Правда, приходил ко мне один:

ты, говорил, моя княжна, –

когда спал со мной, –

а утром поест и уйдёт к жене домой...

После тридцати только и родила сыночка,

хотя думала, будет дочка.

Но это – Богово дело;

главное женщине – чтобы ребёнка хотела

от него одного – родного, любимого,

ни с кем не делимого.

Я такого всё же нашла –

и снова звезда надежды взошла,

когда уже ни на что не надеялась.

А он пришёл – и всё в моей жизни склеилось:

дом построили, сына растили...
Но в пятьдесят втором суженого моего судили
как врага народа –
увезли машиной чёрной прямо с огорода, –
он у меня офицером был,
 служил раньше при штабе в Польше.
Я его не видела больше...
...Замолчала душа. Плачет, смотрю.
Что с ней делать – не знаю.
 Сердце заболело. Терплю.
Наконец, успокоилась,
к печке ближе устроилась.
– Что дальше-то было? – спрашиваю.
– Дальше – не легче. На стройке трудилась,
с лесов один раз вниз разбилась.
Сапоги и гимнастёрки мужа донашивала:
всё на сыночка шло – Васеньку любимого нашего.
В Рязани курсантом учился,
там и женился.
Как и отец, стал командиром,
должность в армии получил с мундиром.
Приезжал ко мне в село иногда
(я уже почками болела тогда),
с супружницей своей интересной гостил –
дров на зиму нарубит, траву летом косил.
Две дочери у него были крошки:
набедокурят немножко,
а он их на колени к себе посадит,
журит легонько,
 а сам головки светлые гладит.

Мы душами когда-то тоже станем,
живого Бога, может быть, застанем,
и там, среди заоблачных морей,
мы встретим и отцов и матерей.

Город мой трофейный –
камня цвет кофейный,
озера подойник, тихая река,
площадь Ильичёва,
зданья от Хрущёва,
потерпевший замок в роли старика,

крышами прикрытый,
временем побитый,
выросший напротив старого пруда.
На домах заплаты:
бились здесь солдаты,
чтобы выжил город на руках труда.

Конные смотрины,
сонные долины,
манит пешеходов улиц западня.
Принесли столетья
беды-лихолетья,
под кресты убита Богова родня.

Город мой сторонний –
мере посторонний,
клинкерное тело – русская душа.
Вроде как советский –
дышит по-немецки,
на фасадах голых – ветхости парша.

Стал цветным и разным
неуклюжий, праздный,
впаянный в Россию – и на том стоим.
Из руин поднялся, –
пусть не всем удалось –
лишь бы в мире жили с городом своим.

СОЛДАТЫ

Год второго рождения города –
сорок пятый.

И живы ещё солдаты,
что отбили его у врага морозной ночью,
выполняя приказ:

взять опорный пункт срочно
и к исходу второго дня
выйти на новые рубежи...

– Вот ты мне честно, старшина, скажи:
немец сам город жжёт, чтоб нам не достался, –
так и на кой ляд он сдался?!

Сложить здесь голову в конце войны обидно:
отсюда Кёнигсберг почти что видно...

– Земляк, скорей и надо воевать,
чтоб с ходу чёрный город этот взять,
который нам никак не обойти:
как в горле кость стоит он на пути...

Прошли мосты, пустили танки к площади,
где баррикады, брошенные пушки, лошади...

Ночь – а светло как днём:
охвачен Инстербург огнём,
кирхи купол лижут языки пламени, –
подпало края полкового знамени...

Втянулись мы, значит, в уличный бой,
пушки катим перед собой –
пули и осколки рикошетят от лафета,
грохот адский – считай, конец света! –

мерцает зарево над котловиной парка,
мороз стоит – а от домов горящих жарко,
черепица крошится, дым глаза ест...
Гляжу в прицел –
на церкви ихней горит крест.
Испугался... Хотя они сами во всём виноваты –
матери их будто сразу детей рожали в солдаты.
Но и мы тоже, прости меня, Боже,
сами вон лезли из кожи
до войны проклятой –
вот мы, мол, сильные какие в России, –
а теперь гибнут такие ребята!..

Что есть страшнее,
когда церковь горит?
Поп их у входа метался, пока не был убит
пулемётной очередью,
вроде из «тридцатьчетвёрки»,
а тут фугас в башню –
покатилась машина с горки...
Танк и церковь чадят рядом:
из дома Божьего – по нам огнём,
а мы – по нему снарядом...
Кто из нас раньше Бога забыл –
тот, кто бойню благословил,
или тот, кто их священника убил?
Кто их на нас идти просил?..
Бьются, сволочи, изо всех сил:
слишком много злости
немец взял с собой в дорогу,
а теперь вот загнан в свою же берлогу...

Когда-то именем реки был назван город,
прикрывший скверами
убитые дома.

Он замкам, как ребёнок, очень дорог,
спасённый временем, не выжил из ума.

Застыл он улицами, помнящими войны,
уснув у озера в подножии холма.
Теперь спокоен он, бойцы его покойны,
и башни высится над городом чалма.

Лишился веры он, корней своих и славы,
разбитый теми, кто потом же и поднял,
кресты костёлов, их крутые главы
орлом российским под себя подмял.

Уже немецкой нет ни строгости, ни стати,
но и душевной нет, по-русски, глубины.
Рождённый злом
плацдармом стать для рати,
он ныне пасынок моей большой страны.

Этот город сумрачный, безбрежный –
тень того, что высился здесь прежде:
меж домов заполнены пустоты,
камнем крашеным расцвёл...
– Да ну ты! Что ты!

Этот город трудно не заметить –
крест собора бесконечно светит,
на его уснувшие высоты
новостройное легло...
– Да ну ты! Что ты!

Начинал войну, сожжён был ею,
знал он Гофмана, Петра и Нея,
дом был для уланов и пехоты, –
и сегодня строевой!
– Да ну ты! Что ты!

Он страдает от чужой обиды –
оттого и не имеет вида;
танцевал он вальсы и гавоты –
разгуляй теперь, кадриль!..
– Да ну ты! Что ты!

Он, конечно, смертен, как и люди,
грешен – только кто его рассудит?
Яшмы пусть лишён и позолоты,
он мне дорог и такой...
– Да ну ты! Что ты!..

ДОМ НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ

Кстати, дом ещё не старый,
пусть родился до войны:
двухэтажный, черепичный,
с палисадом у стены,

с вопросительными ртами
трёх подъездов без дверей,
с цифрой «27» жестяной
под глазами фонарей...

Долго в детстве я снежками
перебросить дом не мог,
и казался мне огромным
наш с перилами порог,

и казался мне высоким
придорожных клёнов строй
и тяжёлыми ступени
на второй этаж, домой.

Ничего не изменилось:
тот же стол, где под вино
мужики со всей округи
забивают в домино.

Дом на улице Советской –
десять окон, два крыльца.

Не лишили капремонты
дома скромного лица.

Здесь на велике кататься
научил меня мой друг,
здесь я первый раз подрался
за обиженных подруг,

здесь с девчонкой целоваться
бегал прятался в подвал...
Двор меня готовил к жизни,
право выбора давал.

А недавно ностальгия
к дому детства привела.
Там, где часто собирались,
дров полённица легла.

Вместо грушевого сада
два сарая стали тут.
Кроме двух семей последних,
все здесь новые живут.

Поразъехались по свету,
кто-то умер, кто-то сел.
Дом на улице Советской
безнадёжно обрусел...

Засиделся на скамейке –
час прошёл, за ним другой.

Голос мамы показался:
«Ночь уже, сынок, домой!..»

Только восемь лет, как мама
в этом мире не живёт...
Дом на улице Советской
и меня переживёт.

* * *

Наши ноги в плену текстиля,
наши пальцы острее льда.
Нас растили в особом стиле –
чтоб мы прятались в города,

чтобы жизнь возвели в причину,
чтобы женщины нас спасли,
чтоб любовь увязать с почином,
чтобы дети без нас росли,

чтобы мы заглушили Бога,
удаляющего от зла,
чтобы нас задушили петли
автотранспортного узла...

ЖИЛИ-БЫЛИ...

Жили вместе дед да баба,
жили долгосрочно:
если и не шестьдесят –
пятьдесят лет точно.

На окраине изба,
прямо возле леса, –
пусть далече, но приносят
пенсии с собеса.

Только что на них купить
в сельском магазине?
Стали деньги собирать
внучке Катерине.

Нонче дед, считай, не ходит,
разве что до ветра.
До сих пор осколок в нём
на полсантиметра.

Всю войну почти Ефим
рядовым протопал,
получил медаль «Отваги» –
город брал Тернополь.

Стал механиком работать,
в бригадиры вышел.
Не было таких в районе,
кто б о нём не слышал.

С Машей познакомился –
озорной девчонкой.
Родила она ему
славного мальчонку.

Дом им строили деревней,
где живут поныне.
Как они заботились
об Иване-сыне!

Молодой была жена –
ох же и красива!
Вся оде́жа шла к лицу,
что бы ни носила.

Как-то быстро Ваня вырос,
выучился в школе.
Загадал уехать в город –
получать поболе.

После армии остался
на воензаводе.
Фотографию прислал
в пиджаке по моде.

С Машей дочь ещё смогли –
не спасли при родах.
Посадили в честь её
вербу в огороде.

Жили для себя потом
скучными годами.
Мебель в городе купили,
в ней бельё – рядами.

Живности поразвели,
как у всех в деревне.
А Марии дали орден
за труды на ферме.

А как дочка родилась
в Минске у Ивана,
было лишь одно письмо:
«Всё в порядке, мама.

К Рождеству посылку вам
с финиками выслал.
Да, теперь я как артист,
в некотором смысле».

Как-то раз приехал он
с дочкой без супруги.
Справили веселие
в зависть всей округе.

А потом Иван пропал –
не ясна причина.
От других уже узнали:
посадили сына.

Не успели отойти –
в сельсовет звонили:
Ваню их единственного
в камере убили...

С горя мать осунулась,
быстро постарела,
стала памятью страдать,
умереть хотела:

«Жить-то для кого теперь,
раз ребёнка нету?
Будет душенька моя
мыкаться по свету...

Ну а дом теперь кому
после нас оставить?
Отдавать его чужим –
не могу представить...

Как сын оправдается
перед небесами?
Видно, перед Господом
провинились сами...»

Стали жить надеждою,
что приедет внучка.
Платье Кате прикупили,
джинсовые брючки.

Ждали, чтоб переписать
ей и дом, и баню...
Как на фотографии
схожа внучка с Ваней!..

Появилась Катерина
осенью червлёной –
привезло её такси
с огоньком зелёным.

Городская на селе –
главное событие, –
ставили на стол, что есть,
праздновать прибытие.

С внучкою вернулось в дом
счастье земное –
Марья даже позабыла,
сердце что больное.

Говорили о хорошем,
карточки смотрели,
песни с удовольствием
русские попели...

Утром старики проснулись –
нету Катерины.
Нет ни денег, ни серёжек –
прятали в перине.

Ну а главное – она
забрала из дому
в позолоченном окладе
древнюю икону.

Как же так?! Помилуй, Боже!
Что же людям нужно?..
В тот же день слегла Мария,
кашляла натужно.

Ночью дед её не слышал,
сколько ни звала.
Потерявши Бога, Марья
в полночь померла...

Жили-были дед да баба...
Дед уже не ходит.
Пенсию собес приносит,
и сосед заходит...

ПУШКИ БИЛИ ПО ГОРОДУ

*Наши пушки по городу били
из леса прямой наводкой,
калеча дома чужие –
кто их тогда жалел?
Город охал и выл от страха
перекошенной болью глоткой,
и в огне становился меньше,
и на наших глазах старел...*

...Город ёжился в чёрном теле –
перебили хребты мостам, –
самолёты искали цели
по церковным его крестам,
раскалённая черепица
градом сыпалась на солдат...
Ждёт Победы Москва-столица –
не дождался её комбат.

Не дожждаться её пехоте,
что стремилась за Ильменхорст...
И кому ж умирать охота
здесь, от дома за тыщу вёрст?
А солдаты, сводивши счёты,
город сбрасывали с земли.
Наши две штурмовые роты
больше сделали, чем могли.

Мы спасались за спины-стены,
сбились улицы в очаги, –
только городу всё едино,
для него все бойцы – враги.
И остался в бою он крайним
и сворачивался в клубок,
и саднил обожжённым камнем
старой ратуши рваный бок.

Брошен город в глубокой коме,
весь покрытый пеплом Помпей, –
потонув в артиллерии громе,
оказался в плену, Цефей.
Здесь остались убиты реки
с немецкой ещё водой,
здесь остались на поле зэки
из штрафного с передовой,

здесь убили сады и скверы,
выжгли лики в святых местах,
здесь осталась распятой вера
в обособленного Христа,
здесь в дыму потерялись тени
от деревьев и фонарей,
здесь остались в домах ступени –
правда, нет в них уже дверей...

Только городом он остался –
искорёженным, но живым.
Как бы там он ни назывался –
стал для тех и других своим.
А когда-то он был красивым
и... крещённым не раз огнём.
Пусть родился он не в России –
но она родилась в нём.

Только здесь ей, широкой, тесно:
кирхи – вверх, а Россия – вширь, –
ей всегда не хватает места,
ей такое бы, как Сибирь...
Но вместились в немецком теле,
приспособившись под гранит.
Бог, живущий на самом деле,
город наш до сих пор хранит.

Судьбою этот город не обижен,
и дни его ещё не сочтены, –
но кажется, он телом неподвижен
и не совсем дома упрочнены.

Пристанищем он стал двум генералам –
им холод бронзы вроде как к лицу,
им бы врага очистить из кварталов,
чем просто красоваться на плацу.

Они не воевали в Инстербурге,
и прах их упокоился не здесь, –
как безо льда на Заполярном круге,
без полководцев город был не весь.

И он теперь, почти непобедимый,
воителями под охрану взят.
Пусть он порой ненастный, нелюдимый –
но ратной доблестью солдат объят.

И каждый в нём – одна его страница, –
нам город стал и богом, и судьёй.
И где б я ни был – он везде мне снится, –
останусь с ним единою семьёй.

Над чёрной позицией воинов
шёл снег, укрывая покойных, –
за их коченелые трупы
мы прятались, как за уступы.

А пули, что ветром носило,
жгли воздух железною силой, –
в селе уцелела у речки
труба закоптившейся печки...

– Как быть, чтоб хватило бы мочи
удерживать берег до ночи?
Когда же прибудет подмога?
– Об этом спроси, брат, у Бога.

Пока есть винтовки, служивый,
мы как бы считаемся живы...
...И снова раскаты орудий,
и гибнут военные люди...

Попал снаряд в бруствер – убило
трёх юных бойцов, командира,
четвёртый, осколком пробитый,
упал на атакой убитых.

Кровь тонко струится из раны.
– Мне больно, спаси меня, мама! –
хрипел он, корячась от боли:
страх смерти лишил его воли.

Но мама солдата не слышит,
никто уже рядом не дышит.
Разорвано небо войною,
страдающее над страной.

Он вырвал чеку из «лимонки»,
по снегу пополз из воронки:
нельзя ему просто погибнуть –
врага надо в поле настигнуть...

Остались высоты за нами,
полк спас своё красное знамя.
К утру догорели берёзы...
Поспели к рассвету обозы,

чтоб с жаркой позиции воинов
собрать для могилы покойных –
юнцов четырёх, командира,
пропавших в спасении мира.

ОНА ВСЁ ВРЕМЯ РАЗНАЯ...

Она всё время разная:
то рыба, то лиса,
то как газетная полоса
с местными новостями,
то как нитка, прицепившаяся к пиджаку,
то как вешалка, стоящая на боку.
Она как открытая ночью дверь балкона,
как змея, душащая Лаокоона.
Она старается стать срочной,
она ценит в вещах прочность.
Она как разница во времени пояском,
она думает, что счастье делается перед сном.
Она живёт в ожидании новой одежды,
в её шкафу пустые плечики надежды...
Она боится, что и второй муж её бросит,
пусть даже деньги почти все домой носит, –
выпьет лишнего иногда, бывает, –
таких сейчас с рук не сбывают.
С сыном надо бы разобраться:
с дружками связался, грубит,
обижается, на кухне курит сидит,
из-под палки учится –
что из него получится?
А какой был славный маленький –
помогал маменьке...
Теперь не дозовёшься. Горько...
Зимой его санки всегда сама таскала в горку...

Любовник, понятно, всегда временный,
а она мечтает вновь стать беременной
и родить тому, кто действительно любит, –
она бы за таким куда угодно пошла,
а там – будь что будет!..

Но никто не появляется похожий,
а время идёт – уже одышка, стареет кожа.
Она давно со всем смирилась,
она знает, что в сыне на жизнь продлилась...

Она всё время разная:
то полынья, то пустыня,
то как продавленная раскладушка,
которую пора выкинуть,
то как дешёвая рижская помада,
что на губах лежит как надо,
а то такая нудная, что и сама не рада...
Она ещё чувствует на себе мужские взгляды,
в автобусе кто-нибудь обязательно прижмётся
из тех, кто рядом...

Она считает, что всё дело в уюте,
но без любви не живётся в двухкомнатной каюте.
В праздник на работе женщины соберутся,
выпьют малость –
разбудят к себе жалость,
обидят кого-то невольно, попоют, поплачут,
позавидуют тайно тем, кто живёт иначе,
боль бабью в душе скроют –
и домой быстрее:
дети и мужики в телефон ноют,

в холодильнике еду найти не могут,
беспомощные совсем...

Она им что – робот?!

Но, как и все, домой спешит:
кто за неё все вопросы решит?
Муж – ещё больший, чем сын, ребёнок:
в играх с машинками своими увяз с пелёнок.
Она всегда хотела свой камин,

в канделябрах свечи,

но дома любой ремонт ложится на её плечи.

По хозяйству дел столько!..

А надеяться на кого? На себя только.

Откуда ещё силы берутся?

Правда, утром трудно проснуться,
а ещё надо себя привести в порядок,
во двор сбегать –

нарвать луку с петрушкой с грядок...

Некому помочь:

все, оказывается, устали...

спать целую ночь.

Обидно бывает, когда по квартире

хоть голой можно ходить,

а суженый в телевизор впялится

и из-за какой-нибудь мелочи

готов весь вечер нудить.

Ей даже болеть некогда,

хотя внизу живота что-то давно тянет:

вдруг в больницу положат?

Дома точно тогда всё станет...

Она всё время разная –
другой-то и быть нельзя:
как тогда найдёшь своего ферзя?
Одинаковые женщины
 вообще никому не нужны,
будь они хоть трижды важны...
Хотя бы на день стать капризной, упрямой!..
Но кто тогда будет работать женой и мамой?..
Ей недавно другой мир снился,
который с этим, реальным,
 причудливо слился:
там земля, оказывается, стоит на трёх китах,
там слово «любовь» у всех на устах,
там все в белом, дышится легко
и солнце сочное высоко-высоко...
Теперь она знает, что жизнь не конечна,
 и смирилась с текущей,
пусть раздражает в туалете бачок текущий,
до которого мужу нет дела:
она сама подтянуть трубу хотела,
но сломала ногти только –
отдала денег столько,
чтобы их нарастить! –
а мужику плевать,
 ушел в гараж пиво пить.
Она видит на экране теле
женщин модельных в изящном теле.
Она им не завидует, а только ворчит:
«Им бы мои заботы за сутки –
стали бы ходить по подиуму, как утки...»

Ей хотелось бы стать беспечнее –
циклы ещё эти вечные,
муж, как назло, лезет,
 когда они только начнутся,
день потом будет ходить дуться...
Все боли и напасти достались бабам.
А ещё же и красивыми быть надо...
И это им удаётся,
и сердце от волнения бьётся,
и живём лишь благодаря им
 и становимся сами разными:
любовь – это чувство заразное...

ОНА УШЛА

Она ушла...
Сказала, что устала,
что удивляться жизни перестала,
и что любовь истлела между нами,
и что она теперь уходит к маме,
и хорошо, что мне не родила,
иначе поувязла бы в делах, –
и что я дал бы нашему ребёнку,
когда сровнял всех под одну гребёнку?..
Бледнела и, срываясь, повторяла,
что самой-самой для меня не стала,
что женщиной не чувствует со мною,
венчаться зря ходила к аналою
и что я загубил её года –
лжецом и эгоистом был всегда, –
что никогда её не понимал,
что ревностью тягучей донимал,
и ничего вокруг не замечал,
и на неё беспочвенно кричал,
и кем-то был ещё, и с кем-то был опять,
и что из-за меня слегла с болезнью мать,
и что не знает, что во мне нашла,
что стороною жизнь её прошла...
– Прощай...

Будь счастлив...

Я ушла...

Ушла...

И погасила свет на кухне, где года
из безнадежно сломанного крана,
как из надтреснутого доньшка стакана,
сочилась бесконечная вода...

Ушла...

И ключ оставила на полке,
где до сих пор лежат её заколки
и воткнутые в бархатку иголки,
вечерний крем, засохший навсегда...

Она ушла...

И оборвались двери,
и все надежды разом устарели,
и небо надо мною опустело,
и на душе моей повисло тело,
и как-то всё поникло, почернело,
и силуэт мой очертили мелом,
и в окнах тусклых задохнулся свет,
и стал мне саваном диванный плед...

Она ушла...

И всё меня забыло,
яичница в сковороде остыла...
А за окном всё тот же двор унылый,
унылый долгий серый дождь постылый,
унылые качели и собаки,
унылые песочницы и баки,
унылый свет расплющенной луны,
унылые отвесности стены...

Она ушла...
И всё ушло за нею,
ушли под землю горы Пиренеи,
ушли морские рыбы на глубины,
исчезла целостность без середины,
погасли свечи, маяки, софиты,
остановились войны: все убиты...

Она ушла...
И замолчали птицы,
застыли ветры и погасли лица...
Исчезло всё – машины и столицы,
исчезли ландыши, фиалки, медуницы,
слова пропали, буквы со страницы,
солёные моря окаменели,
солдаты без атаки онемели,
пропал мой пульс, и потерялось имя,
исчезло всё живущее поныне,
исчезли языки, бумага, береста,
исчез Создатель с тёмного креста...
Зато проснулись боль, соперница огня,
и кто-то исполняющий меня,
проснулся дьявол, что следил за мною,
проснулась смерть слепая за спиною,
с блестящею косою полосою...

Она ушла,
надев в купе прихожей
со стёршейся набойкой сапоги.
Она ушла,
оставив приговором
в луче дороги быстрые шаги...

И был вечер, и было утро...
Он уходил на войну и говорил жене,
сидя за столом в хате,
что много писем он писать не будет:
ещё не ясно, на какой он фронт прибудет;
что на войне, считай, одно и то же
и, кроме смерти, ничего и быть не может;
а то, что армия отходит от границы, –
так это план такой задуманный в столице,
недолго отступление продлится:
всегда умели за себя славяне биться,
пыл у германца весь уже и вышел, –
он это всё по радио услышал.

Она соглашалась с ним,
ставя в печь чугунок:
– Дай-то Бог!..

И был вечер, и было утро...
Он уходил на войну и говорил жене,
качающей колыбель,
что сена не успел он накосить, –
Митяя-деда ей придётся попросить;
что косы все отбил и под навесом места хватит,
зерно ей из сеней помалу надо тратить;

что окна по избе он на зиму поправил
и керосинки все по горлышко заправил;
дрова закончатся – пусть в сельсовет идёт:
уж сани сухостоя ей партком найдёт;
что со своим здоровьем не должна шутить,
что надо сына ей потом ещё родить...

Она соглашалась с ним,
сматывая шерсти нить в клубок:
– Дай-то Бог!..

И был вечер, и было утро...
Он уходил на войну и говорил жене,
сидя на крыльце с папиросой,
что доски у крыльца чего-то закрипели –
наверное, от старости совсем просели;
что им с дочуркой до весны картошки хватит –
накопленные деньги пусть не тратит;
а воевать ещё стране ну год от силы –
поднимут Гитлера, само собой, на вилы;
а комиссар на пункте им вчера сказал:
в Берлине мы уже бомбили их вокзал
и немцы до Орла, конечно, не дойдут, –
и пусть они его спокойно с фронта ждут...

Она соглашалась с ним,
расстилая кровать:
– Дай-то Бог!.. Будем ждать...

И был вечер, и было утро...
Он уходил на войну и говорил жене,
прощаясь с ней у калитки,
чтобы корову как зеницу берегла –
тогда бы отелиться та смогла;
чтобы черёмухи побольше насушила,
а облигации в матрасе чтоб зашила;
чтоб удочки его не трогала она –
потом научит он рыбалке пацана;
что выдали ему шинель не той длины –
хранилась, верно, где-то с той войны;
зато винтовка как влитая за спиною –
заплатит враг за всё большой ценою...

Он ушёл с мужиками колонной
и не вернулся больше –
война оказалась страшнее и дольше:
его осколком в сердце и убило
(под Харьковом там столько всех побил!) –
с другими положили в холм горячий,
чтобы не слышали, что кто-то сверху плачет,
чтоб не узнал он, как деревня сожжена,
что от избы осталась лишь одна стена
и что в деревне столько душ пропало –
никто не знает, что с кем дальше стало...
И не увидать больше дочери отца,
что не успел поправить доски у крыльца...

РОЖДЕСТВО

Смиренен мир в святое Рождество –
нам сходит всё в такое торжество...
От искр серебра рябит в глазах,
бельё клубится свежее в тазах.

Одеты в снег деревья и столбы,
дым катится из утренней трубы,
и вздрагивают медью облака,
укрылась льдом стеклянная река.

Застыли мягкие обложки простыней,
скрипит зима под лезвием саней,
мальчишки белые под горку кувырком,
чернеет шапка, сбитая снежком.

Собака опустевшая идёт –
её и в Рождество никто не ждёт, –
желтеет снег под тонким фонарём,
остужен свет холодным январём.

Раскисла соль на вязкой мостовой,
порядочный скучает постовой –
следит он за движением машин, –
висит в витрине праздничный кувшин.

Молчит под снегом жухлая трава,
шарфами душим чистые слова,

какой-то пьяный дышит табаком,
грозит кому-то смелым кулаком.

У снежной бабы в угольных глазах
застыли лица плавные в слезах,
калина склёванная стонет под ногами,
кружат снежин пуховых оригами.

Скрипит стекло морозное в домах,
тепло находим в лёгкости рюкзах...
От времени большого колеса
моей отстала жизни полоса...

Смирнен мир в святое Рождество –
нам сходит всё в такое торжество...
Чтоб поостыли люди от любви,
Бог отодвинул Солнце от Земли.

С утра подступает к горлу совесть
(см. о настоящем человеке повесть):
хотелось бы стать полезным, то есть
гегемоном своего рода...
Диван продавленный – это та же пропасть...
Скрипит петлями оконной рамы лопасть...
От Калининграда на восток – тоже область, –
и откуда здесь столько народа?!

Когда-то в окна мои просились вёсны –
теперь под потолком холодных ламп блёсны...
Чтобы поднять мачты, надо пилить сосны, –
каждому пню – своя колода...
Не достать сигарет – мешает кресло...
На улицах как бы и без меня тесно...
Здесь тени замков имеют место
и постоянны лишь времена года...

У нас нет моря, но берегов поболее...
Я всё запомнил здесь до гробовой до боли...
Поём мы песни теперь в бемоли...
Сегодня снова на память мода...
Улица – верный способ спастись от плена...
Здесь в каждом доме – немая сцена...
Диагноз власти – дорог гангрена,
у дураков здесь – своя природа...

Дождит. Размокли мои надежды...
Пропахло сердцем тепло одежды...
Живём мы где-то в России между
 границ с Европой сухого брода...
Слова даны человеку свыше,
вживаясь в смысл их, поэт и дышит, –
не все стихи Бог с земли услышит –
 зато у всех будет в жизни кода...

Вроде не война, а зло уже не унять.
Вроде всё не так, а на кого же пенять?

Вроде не жара, а пьют и пьют от души.
Вроде город-сад, а как в дремучей глуши.

Вроде красота, а есть и лучше места.
Вроде и помолвлен, а и с тобой пустота.

Вроде как с надеждой, но лишь с одной на всех.
Вроде не солдаты, а этих били за тех.

Вроде со словами – так ведь не всё говорим.
Вроде всё во благо, а посмотри что творим.

Вроде бы и с Богом, но и с бедой по пути.
Вроде бы есть небо, а вот поди ж полети!

Вроде бы дорога, но только знать бы, куда.
Вроде всё по плану, а забрели не туда.

Вроде и с любовью, но только не с кем делить.
Вроде бы и с правдой, но часто можем юлить.

Вроде не тюрьма, а не укрыться от глаз.
Вроде бы живу, но лишь единственный раз.

Когда ты один,
и ветер – ненастье,
и сон – наказание,
и дождик – несчастье,
и сутки разобраны на минуты,
и зубья у вилки не так загнуты,
и соседи напротив вразнос шумливы,
и картошка «не лезет» без подливывы,
и шатается кресло, ободранное котом,
и всё откладывается на потом...

Ты снова один –
и звонок что сирена,
и мыло не мылит,
и холод – измена,
и всё в телевизоре только про это,
и в зале обои постылого цвета,
и лампа такая, что лучше без света,
и лжива центральная эта газета,
и копится мусор на кухне в пакете,
и лишь за себя ты сегодня в ответе...

Неделю один,
а мне кажется – годы,
и нет у природы хорошей погоды,
и где-то моя затерялась дорога,
прошу избавленья у должного Бога –

и всё раздражает, когда он не слышит,
и кто-то мне в спину унылую дышит,
и выпить фактически не с кем на пару,
и дни выходные подобны кошмару...

Когда я один –
и слова-то похожи,
и эти я раньше использовал тоже...
Один и умру –
дело личное всё же, –
Бог тоже один,
но вечен, похоже...

Город твердокаменный
с колеёй окраинной,
с клёнов каравеллами,
с полосами белыми,
с обликом обветренным,
кое-где с симметрией,
вроде одомашненный,
с трепетными башнями,
войнами подкошенный,
с площадью поношенной,
на глазах стареющий,
крышами болеющий,
с парками увядшими,
с реками уставшими,
кажущийся маленьким,
с замковой завалинкой,
под людей подлаженный,
улицы не глажены,
котлованов кратеры,
труб иллюминаторы,
кирха – Бога пленница,
старых стен поленница...
Есть и мне пристанище
в каменном стаканнице,
в улицу вколоченном
с кирпичом просроченным:

в тесноте мансардовой
жизнью жил надсадливой,
с городом похожею,
как в домах прихожие...
Рядом и положат –
кто-то вспомнит, может...
Что бы ты ни значил –
город не заплачет...

КВАДРАТ

Как-то раз на мой день рождения
друг из цеха для многостаночников
подарил репродукцию в рамочке –
то «Квадрат» господина Малевича.
Очень, я вам скажу, любопытное
оказалось сие приношение
для меня – человека стороннего
мировому искусству могучему.
Провисела картинка на гвоздике
двое суток без всякого действия,
до тех пор пока кот наш зашуганный
не завыл у подножья творения.
Стал и я наблюдать ненормальное
в помещенье с квадратным художеством:
то пивная бутылка расколется,
то все пуговицы разом отвалятся...
А с неделю назад у Малевича
в его правильном произведении
усмотрел я усы королевича,
явно мне до того неизвестного.
Очень даже усищи шикарные!
Больше, чем у Богдана Хмельницкого
или даже комдива Будённого,
революцией с саблей рождённого...
Вот же, право, художник талантливый,
раз в каком-то квадрате упрятывал
лицевое мужское достоинство,
да с рыжинкою и кучерявостью!..

– Посмотри на усы, Галь, огромные! – тыча пальцем неловким в творение, обратился к жене с восхищением, отдыхающей от настроения.

А она, вроде женщина умная, вдруг послала меня раздражительно в направлении общеизвестное с непривычной словесной кудрявостью...

Через день мне из чрева картинного немужской чей-то голос послышался, с очень южным акцентом и йолями, – подпевал я, пока не запыхался.

А приятель мой верный и радостный, с кем мы сели за стол под картиною, мне сказал, что поёт из полотнища Караклаич-певица как будто бы...

Как-то раз у «Квадрата» настенного простоял я в глубоком раздумии, позабыв о футболе с бельгийцами, подходя к раздвоению личности.

Как же мог этот киевский парубок до квадратной картины додуматься – и теперь в этой признанной классике каждый видит особенно личное?..

На двадцатой минуте стояния я увидел вдруг трубы фабричные, баррикады, и В. Маяковского, и матросов, шагающих вовремя, в бескозырках с винтовками стильными.

Я спросил их: «Откуда, товарищи?»
Но колонной бойцы справедливости
с песней скрылись во тьму беспросветную,
чтоб бороться с враждебными силами.

А однажды под вечер предпраздничный
в нашу спальню проследовал скромненько
сам художник Малевич с палитрою
и бутылкой «Столичной» початую.

Сел на стульчик, от шарфа избавился
и с вопросом ко мне обращается:
– Ну и что ты в картинку уставился?
Ты бы лучше жену приголубливал,
чем в «Квадрате» объекты высматривать, –
заявил он с ехидной усмешкою, –
всё равно ничего в нём не выяснишь:
я всего-то закрашивал лишнее,
трафарет для удобства вырезав, –
а теперь началось сумасшествие
и музейное столпотворение...

– Что ж ты, голубь, – воскликнул я с умыслом, –
человечество ввёл в заблуждение?!
Даже я в этой угольной классике
изыскал краснофлотцев движение.

– Краснофлотцев и бронепоезды
наблюдали при НЭПе в Монголии, –
пояснил Казимир Северинович,
запивая томатным «Столичную». –

Вот вчера мне звонили из Мексики,
по-испански кричали на проводе,
что «Квадрат» излучил герменевтику,
плюс со всеми её производными.

Я, признаюсь, не знаю значения
слова этого с грозной фонетикой,
только раз уж и это увидели,
значит, я начертил что-то мощное, –
вот такая, товарищ, история.
Кто бы думал, что я геометрией
приведу континенты к безумию,
что Веласкесы вместе с ван Гогами
оказались в плену моей графики?..
Под вопросы о конгениальности
из бутылки допили последнее,
я сходил за второй с удовольствием, –
не мешая супруге безрадостной,
на балконе грешили с напитками.
Посоветовал мне восхитительный
обходиться без слов в стихотворчестве
и чертить просто чёрные полосы:
пусть читатель в них смысл додумает...
Лишь к обеду проснулся разобранном,
без художника и без нательного, –
сообщила жена мне разборчиво,
что она обо мне всуе думает.
Больше мне Казимир не является:
мы картинку в гараж перевесили,
где медведи товарища Шишкина
развлекают «Москвич» мой потрёпанный.
Только всё же «Квадраты» мерещатся –
жизнь похожая стала на шахматы,
чернотой полна Севериных,
с краснофлотцами, в спальне стоящими,
и застрывшим в дверях бронепоездом...

Мы ходим по кругу
по следу друг друга,
меняя лишь имена,
и жизнь нам кажется
Божьей волей, –
но его ли это вина?..

Мы платим за то,
чтобы было больше,
едем в дальние города, –
только время там тянется
много дольше
и с неба идёт вода.

Мы ходим по свету
с открытым забралом,
чтоб видеть лицо врага, –
только тот, кто не выдержал
срока чуда,
был обязан уйти в бега.

Когда-то мы жили
с объёмной целью,
к штыку подгоняя штык, –
но, если каждый
имеет право,
очень просто зайти в тупик.

Оставляю строй,
чтоб дышать свободой
и свою идти тропой, –
возьму заначку
с собой в дорогу,
что откладывал на пропой.

ПТИЦА

Ночь. Дорога. Встречные фонари.
Я в автобусе сижу у двери.
Кто-то уже спит.
Сосед слева пьёт пиво «Пит».
В салоне нет света.
Душно. Лето...

Женщина вошла на остановке,
села рядом неловко.
Молчала, пока автобус не поехал.
– А вам нравится Эдита Пьеха?
– Нет, – отвечаю.
– Мне тоже, – вздыхает.
Голос у неё чистый, в тишине тает.
– Я вам не мешаю?
– Ничуть,
всё равно не могу уснуть...
– Читайте пирамиды,
поможет: в их тяжести – снов флюиды...
В кресле откинулась, вздохнула,
серьга в темноте блеснула.
Затихла – показалось, уснула...
Смотрю на неё украдкой:
красива, профиль благородный,
волос густых укладка,
в свете луны белая кисть пальцев ломких,
свежий запах духов тонких...

– Как думаете, сколько мне лет? –
спросила, не открывая глаз.
– Женщины так спрашивали меня не раз.
– И всё же?
Я как бы женщина тоже.
– Время вас щадит
и за судьбою следит.
– Дипломатично...
Впрочем, для мужчин лгать типично.
– Почему же так строго?
– Извините, я посплю немного...
Моя же дремота куда-то
разом пропала. Стало легко.
Жалею, что ехать недалеко.
Волнение странное
принял как данное.
– Люблю ночь и дорогу:
во сне мы все ближе к Богу... –
заговорила она вновь. –
Наверное, ещё ближе – любовь?..
Возражаю:
– Дорога – это всегда опасно.
– Не опаснее, чем дома, когда чувство угасло.
– Всё когда-то угасает...
– Но не всех бросают! –
сказала резко. Отвернулась,
в окно чёрное уткнулась.
Чувствую – плачет.
Неловкая обстановка...
Как раз остановка,

покурить вышел,
водитель мне что-то сказал –
не слышал.

На улице свежо, прохладно.
«Чего волнуешь? Кто она мне?»
Никто – и ладно...»

Вернулся. Ждёт, вижу,
подвинулась ближе.
– Простите. Наболело...
Я вам, похоже, надоела?
– Совсем нет...
– А я вот уехала без денег на обратный билет... –
улыбнулась невесело.

Опять задремала – голова свесилась.
Почему-то смотреть на неё хочется,
в сердце желание точится.
А автобус дальше везёт в ночь, мотором урчит,
где-то в салоне сзади женщина ворчит...
Чувства странные.

В голову полезли мысли пространные:
о доме, что не построил,
о сыне, которого против себя настроил
из-за мелочей, –
теперь вот живу один, ничей.
На смертном одре вдруг себя представил –
страшно стало: что в мир этот оставил?..
К матери вот еду за последние три года
первый раз –
не мог в письме черкнуть пару фраз,
как бы занятой,
а сам то с этой поживу, то с той...

Дотянул, пока не позвонили,
что чуть маму не схоронили...
За окном что-то похожее на рассвет.
Сосед слева взялся за второй чипсов пакет.
Скоро выходить –
решил попутчицу не будить.
Она вновь заговорила сама
(голос её сводит с ума):
– На всякий случай –
меня Александрой зовут, реже Шурой...
Не посчитайте душой.
Просто я устала:
тоска к сердцу пристала –
не оторвать,
с прошлым никак не могу порвать,
а новое ещё не настроилось,
сомнение в душе пристроилось, –
такие вот удила...
Повернулась вдруг ко мне, за руку взяла:
– А вы способны начать жизнь с чистого листа?
Например, сойти сейчас со мной в темноту,
в эти незнакомые места?
Не важно, что мы не знаем друг друга, –
я бываю порой хорошая подруга...
Опешил, не знаю, что сказать.
– Вообще-то, места мне знакомы –
здесь живёт моя мать...
– Ну и что?! Проедем дальше...
от этой фальши... –
сказала она горячо,
развернув меня за плечо. –

Прекратите спать!
Во сне душа перестаёт дышать!
Надо жить там, где страсти пылают огнём,
где звёзды видны не только ночью – и днём,
там, где лазурное море и вечное лето, –
в ста шагах от начала света...
Молчу, как-то стало не по себе.
– Не смотрите на меня так!
Вы мужчина или тьюфяк?
Не верите, что есть мир,
где ангелов больше, чем аистов,
где счастье и равенство?
Можете не отвечать –
таким, как вы, лучше молчать!
А я вот всё равно буду летать!
Я – птица!
Пусть кругом эти постные лица –
хочу быть там, где запах полыни
и небо, придуманное Феллини...
Идёмте со мной! Нам надо быть с ними!..
Она наклонилась надо мной, перешла на шёпот:
– А вы не знаете – ездила Пьеха в Сопот?
– Не знаю, – бормочу.
Сумасшедшая, думаю, –
а сам волосы трогать её хочу...
Отстранилась, осталась стоять в проходе,
потеряв ко мне интерес.
Чувствую себя глупо –
установился на её юбки разрез...
Туман такой, что дорога как будто
закрыта сукном.
Проявились какие-то дома за окном.

Белая бессонница – чёрная бездонница,
стропы циферблатные спутались в ночи.
Сердца неуёмного беспокоит звонница,
и душа встревоженная тоже не молчит.

Всё-то мне не нравится: город жезью плавится,
морщатся под крышами скучные дома.
Страсть моя – подельница на двоих не делится, –
и когда ж сойдёмся мы от любви с ума?

Жжётся эпизодица – наших дней угодница,
счастье затеряется в шорохе минут...
Отпусти, истерица, с Богом души сверятся –
и тогда сомнения нас не разминут.

ЭТА ЗЕМЛЯ

Эта земля не наших предков –
отломленный край России.
Не затем нам её отдали,
чтоб врагу мы войну простили.

Липы и вязы так похожи
на те, что растут под Вязьмой.
Видны ещё на стене слова
готической чёрной вязи.

Руины замка ещё послужат,
как служат чужие реки, –
и только пруд видел замка мощь,
но ряска закрыла веки.

А люди строились, жали хлеб,
надеясь на помощь Бога, –
но он, уроженец не этих мест,
не ведал сюда дорогу.

Этот город такой же русский,
как кисель на седьмой воде, –
но и он обречён надеждой
во второй – непростой – судьбе.

Мы знаем всё о дорогах,
мы делаем их ровней
и валим под них деревья,
рвём тросом ремни корней.
Дороги хранят пространство,
впиваются в города.
По обочинам спят деревья
и серебряная вода.

Любая дорога – скорость,
любая – быстрее нас.
Развязки скрипичный узел,
светофора цепной анфас...
Мы – стежки в полотне дороги
с распалительной чертой,
где луна над дорожным миром
стынет мертвенною пятой.

Из-под плитуса горизонта
вытекают дорог ручьи.
Сколько было путей пропащих, –
да они и сейчас ничьи.
Мы считали, что всё едино
и дорога на всех одна, –
оказалась узкоколейной
и в потёмках не всем видна.

Мы привыкли к своим дорогам,
и пристроились к ним в домах,
и расплющили тропы в тракты,
раз такой у страны размах.
Человека судьба – мерило
у дороги и у войны...
Мы не видим маршрут движенья
из-за чьей-то большой спины.

В королевстве кривых дороги
заменяют порой столы.
Те, кому на дорогах тесно,
заказали себе стволы.
И теряемся мы в переходах,
костью в горле – тупик «Норд-Ост»...
Все дороги ведут к храму –
с поворотами на погост.

НА ДВОИХ

Он служивый – и она.
На двоих – одна война,
на двоих – одна забота:
чтобы выжила страна.

Он – в окопе рядовой
с карабином за спиной.
Трудится она в санбате
у хирурга на подхвате.

Два солдата, два бойца.
Тронула любовь сердца:
ей, стирающей бинты,
он украдкой нёс цветы.

На войне как на войне –
жизнь понижена в цене, –
ты для мамы сохранись,
обязательно вернись...

Круговая оборона –
две гранаты, три патрона...
Подавили танки вражьи
молодых стрелков отважных.

Из атаки штыковой
мало вышел кто живой.

Уступили мы высоты,
от воронок кряж – как соты.

Разбомбило медсанбат.
Отошли полки назад.
Много пало от свинца –
среди них и два бойца.

Не связало их любовью:
вытекла из сердца кровью,
запекалась под ногами,
затоптал враг сапогами...

Родина теперь в ответе
за живущих на том свете.
И не важно, чья вина,
кем придумана война...

Нам чужие страны
кажутся так странны:
хлеб какой-то не такой,
кто ж так водку пьёт?
Женщины, смотри, какие:
что-то непонятное, –
кто-то любит и таких,
их же кто-то ждёт.

Слишком уж размеренна
жизнь их иностранная:
не кричат, не носятся,
нет очередей.
Как-то всё неправильно,
не по-человечески:
слишком беспокоятся
за права людей.

Раз такие умные –
так сидите в офисах
да в коттеджах с розами, –
вам-то что до нас?
Мы и сами справимся
с нашими баранами,
угрожать захочется –
перекроем газ.

С нашей колоколенки
далеко всё видится:
край их напوماженный
весь как на духу.
Нам бы волю дали
да серпы и молоты –
вот бы надавали им, –
знают наверху.

Вот у нас на родине
столько интересного:
разжились заборами –
по двору и кол.
Лишь своё нам нравится,
пусть и колченогое, –
не нужны нам ваши
виски с кока-кол.

Хорошо, конечно,
в Швециях-Германиях:
всё для всех имеется,
чистота, уют.
Только вот безжизненно
и без настроения –
за столами в праздники
песен не поют.

Что там может нравиться?
Их дороги ровные?

Дураков там родственных
больше, чем машин.
Лучше мы с бутылочкой
посидим на кухоньке –
и проблемы Родины
в лёгкую решим!

Он, дерзких рук творение в металле,
венчает площадь, сползшую к пруду,
и высоко стоит на пьедестале,
чтоб быть у всей России на виду.

Пушкой и не сыскал любви народной,
хотя и редкой храбрости талант,
он, на коне и с картою походной, –
в короне русской славы бриллиант.

Он честен был, не прятался от пули,
в бою всегда шёл впереди солдат,
что с ним на верность вместе присягнули,
и ширитой души по-русски был богат.

Доверием солдатским не согретый,
искал погибель при Бородине;
спаситель континента, Пушкиным воспетый,
оставлен с городом судьбы наедине.

Герой войны, защитник доброй воли,
чтобы поднять Отечества престиж,
на бронзовом коне готов Барклай-де-Толли
вновь покорить забывчивый Париж.

ТИШИНА

Г.

День снова умер. Воздух почернел.
Перины взбиты белым ожиданьем.
И диск Луны в окне окоченел,
наполнив ночь холодным назиданьем.

Худой фонарь. Протяжные машины.
Мерцает сталь троллейбусной иглы.
За тлеющую шторой крепдешина
дрожат домов озябшие углы.

Хранится снег на проводах и крышах.
Спешит патруль в казённое тепло.
Хрустит земля, льдом выровнены ниши,
и зимний шар стеклом заволокло.

Рекламы куб, насаженный на рею,
застывшим удовольствием скрипит.
Расшита звёздами небесная ливрея,
что дальним светом города слепит.

Мы – за стеклом. Довольствуемся малым...
И вновь поймём причину вышины,
когда ко мне нырнёшь под одеяло,
чтоб я тебя согрел от тишины.

Стены холодного цвета,
медленный фон дорог.
Изморозь нового света,
дом до трубы продрог.
Грустные лают собаки,
ломкое бьёт бельё.
Снега глубокие знаки,
скользких столбов цевьё.

Всё ли зимою в белом?
Белая ли зима?
Стынет покорным телом
смёрзшаяся страна.
Белее зимой горячка,
зависть зимой белей,
с белым лицом морячка
весточки ждёт с морей,

белые спят невесты,
белая вдоль тюрьма,
белому мало места,
в белом сойдёшь с ума,
белые стёрты пятна,
белый искрит мороз...
Кто-то ступает смелый
в белом венце из роз...

Чистые ждут берёзы.
Частые жгут огни.
Белые электровозы
тянут вагонов дни.
Выгнуты белым реки,
снега сечёт крупа.
По-чёрному не устали
белую пить пока.

Крестные вереницы
в белую врыты твердь.
Будет опять глумиться
белая с виду смерть.
Белых берёз халаты,
белых лесов холмы...
В белом лежат солдаты,
которых убили мы.

Витрина чахнет фотоателье:
пожухлая реклама Монпелье,
улыбок штучных сохнет вереница,
остывших взглядов матовые лица.

За дверью – очередь в ущелье коридора,
слов ожидают слуги термидора:
кому-то нужен фарс, кому-то – профиль...
Серебряный бессилён Мефистофель.

Нас делают беспомощными линзы,
пускают по воде венками тризны,
нарежут жизнь на чёрные квадраты,
зависящую от граффити даты.

Замру и я в застигнутом пространстве,
став жертвою оптического транса.
Застынет солнце в кроне кипариса,
застынет бесконечность парадиза.

Застывший мир, конечно, легче резать,
и времени не всем удобна резвость.
Мгновенье жизни умирает в фото –
сейчас меня убьёт за шторой кто-то...

Заменяла тишина стрельбище вселенское,
и с рейхстага передан красный флаг в музей.
Потянулись по домам псковские, смоленские,
сохранятся карточки фронтовых друзей.

А солдаты в комнатах ходят – пригибаются:
всё окопы кажутся им на передовой.
Не успел отец пригнуться в том бою под Прагою –
миномётчик третьей роты, в званье рядовой.

С пацанами бегал я к поездам на станцию, –
может, батя возвратится и откроет дверь:
«Вот он я, сынок, живой! Ни одной царапины!
Ну а то, что был убит... этому не верь!»

А война закончилась вечною победою,
и от пороха очистил небеса салют.
И мужьям вернувшимся стелют бабы новое,
за безвестных молятся, за погибших пьют.

Она спит на моих руках,
улыбаясь кому-то во сне.
Мы летим с нею к облакам
на качающейся весне.

Под нами плывут огни,
вылущенные из колб,
и поднятый на крыло
Александрийский столп...

Тени скатятся по стеклу,
и замрёт в темноте окно.
Нас в безмолвие унесло
за небесное волокно...

За пределами слов любовь –
она же рождает слова.
Кто-то знает их наизусть,
я же – буквы, и то едва...

«Я БОЮСЬ ДУШЕВНОГО ПРОСТОЯ...»

Первое своеобразие книги Игоря Ерофеева «Устоять» – «глагольность» стиха, отображающая непреложность движения жизни. Уже само заглавное слово – глагол, в котором парадоксально – и вместе с тем закономерно – сочетаются статика и динамика. Значение корня – статика, отсутствие движения – в столкновении с динамикой, вносимой приставкой, кристаллизуется в новый смысл: противостояние-противодействие злым ветрам, бедам, войне, насилию, искусству – словом, всему, что несет разрушение сущности человека, существу его деяний, сути бытия.

На изломе судьбы, в ситуации выбора, герои стихотворений сталкиваются с необходимостью скорого действия, упорного хода в выбранном направлении – к спасению близких, семьи, страны, а значит – к спасению души. Но движется не всякий. И тот, кто не движется, впад в «душевный простой», – не способен устоять...

А «траекторию движения судьбы» – так или иначе – определяет «траектория движения души». Однако в какой мере человек способен определить вектор движения и спроектировать эту траекторию – спроектировать в обстоятельствах, которые далеко не всегда благоприятствуют? Над этим вопросом и размышляет автор. И в поисках точки опоры, в поисках ориентиров обращается к прошлому. Недавнему прошлому – событиям Великой Отечественной войны.

В каждом из его «военных» стихотворений – свой сюжет, своя история, рассказ о судьбе или судьбах. О судьбе одного-единственного человека, о судьбах

нескольких или многих отдельных людей, следующих каждый по своей линии либо осязающих себя частью общности – семьи, боевого братства, целой страны. Они поразительно живые, эти образы – и тех, кого у жизни война отняла, и тех, кого для жизни отпустила, оставив своё болезненное наследство.

И война – это и беда, и урон, и испытание, и урок, и трагедия. И, при неизбежной скорбности, катастрофичности, неизбывности горя, приносимого ею, это ещё и – как ни парадоксально – начало. Например, начало новой, другой жизни города, в котором суждено было ему, автору, родиться. А прежняя была пресечена войной, хотя и оставила по себе память и множество вопросов и загадок.

И уж никак не может этот город им восприниматься как чужой. Есть только знание, что до военного рубежа всё в нём было иное. Душа же припала к нему, как к истоку, вросла в него, как в почву. Страдательная его судьба – арена битв, несущих смерть людям и домам, – пробуждает сочувствие к нему, как к живому существу, которое оказалось жертвой неразумных людских помыслов и действий, породивших войну.

По сию пору не затянулись шрамы от ран войны ни на лице города (потому и сейчас фильмы о ней снимают в иных его уголках, выглядящих так, будто война закончилась сегодня утром), ни в душах тех, в чьи судьбы вошла она когда-то и поселилась надолго – «на всю оставшуюся жизнь»...

Горьки интонации его стихов о своём поколении – поколении «семидесятников», жертв идеологических манипуляций, «строителей строя», разучившихся «думать и решать» и «привыкших бояться». И всё же

они – «внуки победителей», и память об этом даёт надежду на «неосуществление антимечты», на возможность вырваться из круга, где ходят «след в след», и построить свою дорогу, включиться в контекст истории, вершащейся на наших глазах и питающейся движущимся настоящим, включиться в контекст общей ответственности...

Ещё одна точка опоры – любовь. Она «за пределами слов» – она же «рождает слова». И пусть лирический герой, полагая себя ущербным, заявляет, будто из тех слов знакомы ему лишь «буквы, и то едва», он спасительно верит, что есть у любви на этой земле надёжнейшее пристанище – женская душа. Автор создаёт портрет женщины-современницы. Динамичный портрет, потому что «она всё время разная», потому что и в плену стереотипной будничности живёт мечтой о счастье, а её душа-птица рвётся в полёт...

Стихи Игоря Ерофеева – маленькие новеллы о драматичных судьбах, серьёзные, нередко печальные. Однако порой вдруг включает он своё недюжинное чувство юмора, которое «ходит в одной связке» с иронией и самоиронией, поскольку без этого, пожалуй, немислима терапия души...

И напоминает поэт, что дано ещё человеку почувствовать себя частью мира, пусть и небезупречной, в особенные дни – в такие, как Рождество, когда наступает Божественное затишье – недолгое, зыбкое, но дарящее возможность «поостыть» от тревожной суеты, сопровождающей человеческое существование, когда «дробность» – точнее, «раздробленность» – бытия, «разъединённость» смертных преодолеваются под светлым покровом заботы Создателя...

Галина Каштанова-Ерофеева.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
«Я боюсь, что сказка станет быльёю...»	4
Устоять	6
Душа	8
«Город мой трофейный...»	18
Солдаты	20
«Когда-то именем реки был назван город...»	25
«Этот город сумрачный, безбрежный...»	26
Дом на улице Советской	27
«Наши ноги в плену текстиля...»	30
Жили-были...	31
Пушки били по городу	37
«Судьбою этот город не обижен...»	40
«Над чёрной позицией воинов...»	41
Она всё время разная...	43
Она ушла	49
«И был вечер, и было утро...»	52
Рождество	55
«С утра подступает к горлу совесть...»	57
«Вроде не война, а зло уже не унять...»	59
«Когда ты один...»	60
«Город твердокаменный...»	62
Квадрат	64
«Мы ходим по кругу...»	68
Птица	70
«Белая бессонница, чёрная бездонница...»	76
Эта земля	77
«Мы знаем всё о дорогах...»	78
На двоих	80
«Нам чужие страны кажутся так странны...»	82
«Он, дерзких рук творение в металле...»	85
Тишина	86
«Стены холодного цвета, медленный фон дорог...»	87
«Витрина чахнет фотоателье...»	89
«Заменяла тишина стрельбище вселенское...»	90
«Она спит на моих руках...»	91
Галина Каштанова-Ерофеева. «Я боюсь душевного простоя...»	92

Литературно-художественное издание

ЕРОФЕЕВ
Игорь Васильевич

УСТОЯТЬ
Сборник стихотворений

Редактор *Г. В. Кашианова-Ерофеева*
Корректор *Г. В. Кашианова-Ерофеева*
Макет и вёрстка: *Г. В. Кашианова-Ерофеева*

Подписано в печать 09.10.2009 г. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Bookman Old Style. Усл. печ. л. 4,2.
Уч.-изд. л. 4,47. Тираж 500 экз. Заказ № 8453.

Отпечатано с электронной версии заказчика
в типографии ОАО «Янтарный сказ».
236000, г. Калининград, ул. К. Маркса, 18.

 ЯНТАРНЫЙ СКАЗ

ISBN 978-5-7406-1091-5

Игорь

ЕРОФЕЕВ



УСТОЯТЬ